

А. С. ПУШКИН

Через месяц без малого, сегодня, — исполняется ровно сто лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — и к сожалению — почти уже 65 лет со дня его смерти. Он прожил всего одну треть человеческого века; он едва достиг возраста предельной человеческой зрелости и в 37 лет — был вырван из жизни, не знающей пощады рукой смерти. И как он умер! Не болезнь, не случай положил конец его дням: его убил такой же, как и он, смертный человек, в раздражении оскорбленного самолюбия, забывший, может, еще проще того, даже никогда и не знавший, на какую драгоценную жизнь посягает он. Века сохранили нам имя Герострата, уничтожившего храм Дианы Эфесской. На земле человеческие руки не созидали еще храма, который мог бы сравниться по красоте своей с великой душой Пушкина. И, если бы у несчастного Дантеса было честолюбие греческого безумца — он мог бы быть вполне удовлетворен. До тех пор, пока будет существовать русский народ, до тех пор, пока сохранится в истории память о нем — новые поколения, узнавая о своем великом поэте, будут вспоминать и об его убийце. И не мудрено! Если за свою короткую жизнь, Пушкин успел столько сделать для своего народа, то какими сокровищами поэзии и красоты по-

дарил бы он, если не был подкошен в расцвете своих сил бессмысленной пулей пустого человека. Заметьте удивительное — но вместе с тем любопытное совпадение. У нас Пушкин умер в 37 лет. В Англии другой великий мировой гений с 38 лет начинает создавать лучшие свои трагедии, те трагедии, которые окружили его имя чудным ореолом и дали ему право на имя Гомера новой истории. Я говорю о Шекспире: его «Гамлет» и «Юлий Цезарь» появились около 1602, 1603 года, когда поэт перешел за возраст 37 лет. А вслед за этими двумя пьесами — стали следовать одна за другой величайшие создания искусства — Макбет, Отелло, Король Лир, Кориолан, Антоний и Клеопатра и т. д. Если бы Шекспир умер в возрасте Пушкина мы не знали бы ни «Гамлета», ни «Лира» — и вместе с ними во всемирной литературе погиб бы еще целый ряд вдохновенных дивных произведений, внушенных их авторам бессмертным гением великого английского поэта. А Пушкин умер в 37 лет! Какого «Гамлета», какого «Макбета» унес он с собой в могилу и что было бы с русской литературой, если бы Пушкин прожил столько же, сколько и Шекспир? Я уже не говорю о таких долговечных гениях, как Гете, или Виктор Гюго, успевших «вполне отдышаться» здешней жизнью и ушедших из этого мира после того, как ими было всё исполнено, что они могли только сделать. Да, 62 года прошло с тех пор, как Пушкин умер, пора бы кажется примириться с печальным фактом его безвременной гибели, но каждый раз, когда приходится вспоминать об ужасном событии, нет возможности подавить рвущийся из груди невольный вздох. Мы не можем простить судьбе и ее орудию, Дантесу, их жестокости. Кто возместит нам эту страшную утрату? Но — не нужно быть слишком неблагодарными судьбе. Пушкина у нас нет, Пушкина у нас отняли, вместе с ним ушли навсегда в могилу бесценнейшие перлы художественного творчества. Но, — Пушкин у нас был, и от него осталось великое наследие, которое уже никакими силами не может быть вырвано у нас. Это наследие — вся русская литература. Когда-то, не так давно еще при слове «лите-

ратура» наша мысль невольно обращалась к Западу. Там, думали мы — есть всё, чем может похвалиться творческая человеческая душа. Там, там Данте, Шекспир, Гете. Теперь не то: теперь люди западной культуры с удивлением и недоумением идут к нам, своим вечным ученикам, и с жадной радостью прислушиваются к новым словам, раздающимся в русской литературе. Давно ли еще Жорж Занд и Виктор Гюго были неограниченными властителями и повелителями в международном государстве всемирной литературы? Прислушайтесь теперь: у кого учатся? У графа Толстого, каждое новое произведение которого передается чуть ли не по телеграфу в близкие и отдаленные страны, у Достоевского, которому так тщательно, хотя и безуспешно подражают и французские, и немецкие, и английские, и итальянские романисты. А гр. Толстой и Достоевский — это духовные дети Пушкина; их произведения — принадлежат им наполовину; другая половина — принята ими, как готовое наследство, созданное и сохраненное их великим отцом. Достоевский, в своей знаменитой речи, к сожалению неправильно понятой многими и потому приведшей к ожесточенной и неприятной полемике, сам почти говорит это. Гр. Толстой, правда, отрекается от Пушкина, и даже выразил в своей книге «Что такое искусство» удивление по поводу того, что Пушкину в 80-х годах воздвигли в Москве памятник. Но от этого дело нисколько не изменяет своего характера. Что бы ни говорил Толстой — все мы знаем, что им в настоящий момент руководит не беспристрастная справедливость историка-судьи, а посторонние соображения, потребности минуты. Сейчас он занят проповедью: всё, что может содействовать целям этой проповеди, он хвалит; всё, что вредит им — он порицает. Он отрекся от Пушкина, но он не отрекся он «Войны и Мира» и «Анны Карениной». Он в обоих случаях был равно прав. Но мы, которые в великих толстовских романах видим наиболее полное выражение творческой русской мысли, мы знаем, от кого эта мысль получила начало, мы знаем тот единый, бездонный и глу-

бочайший источник, из которого на веки вечные будут брать начало все течения нашей литературы. Иностранцы, восхищающиеся теперь Толстым и Достоевским, — в сущности отдают дань Пушкину. Пушкин им недоступен, т. к. русского языка они не знают, а в переводе стихотворные произведения совершенно теряются. Но преемники Пушкина не сказали больше, чем их родоначальник. И именно тем велики они, что умели держаться раз указанного им пути.

В чем же состояло наследие, завещанное великим учителем многочисленным ученикам своим? Я говорю многочисленным, ибо граф Толстой и Достоевский были раньше названы мною лишь как наиболее крупные, талантливые и типические выразители пушкинского духа. За ними есть еще огромная масса писателей, с большими или меньшими дарованиями. Не только такой писатель, как Тургенев, или такие таланты, как Писемский и Гончаров — все почти, хоть сколько нибудь выдающиеся в литературе писатели — носят на себе печать влияния Пушкина. Посмотрите для примера хотя бы на Гаршина и Надсона, которые отцвели не успевши расцвести — и в них вы увидите верных учеников Пушкина. Не только художники, — все лучшие русские писатели имели на знамени своем одну вечную надпись *ad majorem gloriam* Пушкина. Так всеобъемлющ был гений нашего великого поэта.

Белинский сказал о Пушкине, что его поэзия учила людей гуманности. Это высокая похвала, в устах Белинского много значившая. Великий критик хотел этими словами сказать о поэте то, что Гамлет говорил о своем отце: «Человек он был во всем значении этого слова — другого равного ему не найти во всем мире». И, вслед за Пушкиным, по его примеру и ему в подражание вся русская литература от начала настоящего столетия до наших дней сохраняла и сохраняет один девиз: учить людей человечности. Задача эта гораздо сложнее, гораздо глубже и труднее, чем может показаться с первого раза. Поэт — не проповедник. Он не может ограничиться подбором страстных и сильных слов, волнующих серд-

ца слушателей. С него спрашивается больше. С него прежде всего требуют правдивости, от него ждут, чтобы он изображал жизнь такой, какой она бывает на самом деле. Но мы знаем, что на самом деле жизнь менее всего учит гуманности. Действительность беспощадна, жестока. Ее закон: падение и гибель слабого и возвышение сильного. Как же может поэт, оставаясь верным жизненной правде, сохранить высшие, лучшие порывы своей души? Повидимому — выбора нет и не может быть, повидимому двум богам служить нельзя; нужно или описать действительность или уйти в область несбыточных фантазий. В новой западно-европейской литературе этот вопрос так и не был разрешен. Великие писатели западных стран не могли разгадать этой страшной и мучительной загадки. Там вы видите перед собой либо великих идеалистов, какими были, например, Виктор Гюго или Жорж Занд, либо преклонившихся перед действительностью реалистов, как Флобер, Гонкуры, Зола и многие другие. Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими, идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой грозного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь — верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги. Вся жизнь, всё творчество великого поэта были тому примером и доказательством. Он расчистил путь для всех дальнейших писателей и вслед за Пушкиным русские люди увидели Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Островского, Писемского, Достоевского, Толстого, и к нам, еще

так недавно робко учившимся у европейцев пришли, как мы говорили, эти самые европейцы за словом утешения и надежды.

Может быть кой-кому послышится преувеличение в этих словах. Может быть найдутся люди, которым покажется, что и самый то вопрос об реализме и идеализме не так был страшен, так что по поводу его слишком рискованно вспоминать сфинкса и, затем, что не Пушкин этот вопрос разрешил. В ответ на это мы предложим, с одной стороны, маленькую экскурсию в область пушкинского творчества, а с другой стороны, напомним о двух других великих поэтах земли русской: о Гоголе и Лермонтове. Оба они современники Пушкина, но не ими, не их творчеством определились будущий рост и блеск русской литературы. Спору нет — они оказали большое, огромное влияние на мирозерцание дальнейших поколений. Но, к счастью, не им дано было стоять во главе умственной нашей жизни. Все знают страшную судьбу Гоголя. Он был реалистом, он описал нам все ужасы действительной жизни с ее Хлестаковыми, Сквозник-Дмухановскими, Собакевичами, Маниловыми и т. д. — но сам не вынес ужасов реализма и пал жертвой своего творчества. Он не разрешил загадки сфинкса и сфинкс — сожрал его. Теперь мы знаем, что его слова «сквозь видимый миру смех и невидимые слезы» не были аллегорией, метафорой — а были настоящей правдой. Мы видели, как он смеялся и не верили, что он плакал: только тогда, когда появилась его переписка с друзьями, поняли мы, с какими мучительными вопросами имел дело наш великий писатель. Тоже и Лермонтов. Нам не суждено было видеть разложение его могучего таланта: услужливая пуля избавила его от гоголевской судьбы. Но мы знаем по мотивам его творчества, какие тяжелые пытки приходилось выносить ему. Ведь он в 25 лет сказал: «и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка». А его стихотворение «Не верь себе, мечтатель молодой»! Кто в силах победить в себе ужас и отвращение к жизни перед ли-

цом таких образов, какие преследовали Лермонтова? И такой человек нашелся. Это был Пушкин. И, как странно! Лермонтов задавался часто теми же задачами, какие ставил себе Пушкин, но каждый раз не он одолевал задачу, а задача побеждала его. Стоит только сравнить «Евгения Онегина» с «Героем нашего времени». Онегин и Печорин — родные братья, близнецы, если угодно, вскормленные грудью одной матери. И что же? Лермонтов спасовал, уничтожился пред своим Печориным. Пушкин восторжествовал над своим Онегиным. Вспомните оба романа. Куда ни является Печорин он всюду, подобно ангелу смерти, вносит горе, несчастье, разрушение. Никто и ничего не в силах противустоять его могучей силе. Лермонтов, словно говорит нам: вот всё, что есть, что может быть в жизни. Вам не нравится Печорин: он зол, мстителен, беспощаден. А всё-таки — он лучший, всё-таки всё остальное — ничтожность в сравнении с ним. Мужчины — мелки, трусливы, глупы, пошлы. Женщины? Да все они душу свою отдадут, стоит только Печорину кивнуть им. И дикарка Бела, и милая княжна Мери, и несчастная Вера Лиговская — все они у его ног, все покорились ему. Сильнее, могущественнее Печорина — нет никого на свете. А, стало быть, — такова жизнь: в ней побеждает грубая, беспощадная сила. Таков смысл «Героя нашего времени». Здесь — апофеоз бездушного эгоизма; Лермонтов не может побороть Печорина и, потому, желая оставаться правдивым, открыто признает его победителем и поет ему хвалебный гимн, которого каждый победитель может себе требовать. И, как после этого не повторить, вслед за ним его стиха: «и жизнь...» Печорин убивает всякую веру, всякую надежду.

У Пушкина мы, с восторгом, с радостью видим прямо противоположное. И его Онегин сперва является перед нами победителем. Он везде первый, и в гостиных, и в деревне. Даже к Ленскому он относится со снисходительной пренебрежительностью, которая в сущности, обиднее всякого презрения. Ну, а о женщинах и говорить

нечего. Не только светские дамы, даже такая чуткая, глубокая деревенская Таня и та прельщается светским львом, носящим, под личиной разочарования лишь пустоту и бессодержательность, и заменяющим модными словами все истинные порывы человеческого сердца. Ни за что и ни про что он убивает Ленского — и покидает деревню, чтобы искать себе новых мест для новых побед над опытными и неопытными женскими сердцами: ведь этими победами живет он. Следя за перипетиями романа, видя повсюду торжество Онегина, читатель с тревогой спрашивает себя: неужели этот победит? неужели во всей России, во всей русской жизни Пушкин не отыскал ничего и никого, что и кто мог бы остановить победоносное шествие бездушного героя? Неужели опять суждено, чтобы все и всё ему завидовали, и он бы высказывал лишь не очень заслуживающую веры зависть к параличу тульского заседателя?

Но тут является на сцену Татьяна. Достоевский справедливо заметил, что весь роман должен был бы называться не именем Онегина, а именем Татьяны, ибо она — главная героиня его. Это необыкновенно глубокое замечание, которое, мне кажется, может явиться *profession de foi* всех русских писателей — не только беллетристов, но и критиков, публицистов, даже экономистов. Весь смысл нашей литературы в этом: у нас герои — не *Онегины*, а *Татьяны*, у нас побеждает не грубая самоуверенная, эгоистическая сила, не бессердечная жестокость, а глубокая, хотя тихая и неслышная вера в свое достоинство и в достоинство каждого человека. Татьяна отвергла Онегина! Много у нас споров возбуждали заключительные строчки ее последней речи к Онегину:

Но я другому отдана
Я буду век ему верна.

И эти споры делают честь критическому чутью русских писателей. Все поняли, что в этих двух коротеньких стихах смысл всего огромного романа, что ими осве-

щаются не только все действующие лица его, но, что нам всего важнее — сам Пушкин. Татьяна, став старше, могла бы ошибиться, как ошиблась, когда впервые встретилась с Онегиным, не разгадать Онегина и откликнуться на его призыв. Но Пушкин не мог и не должен был ошибиться. Вся задача его сводилась к тому, чтобы отыскать в жизни, в действительной жизни такой элемент, перед которым бы распалась в прахе дерзновенная, но пустая схема искателей духовных приключений Онегиных. Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда в лохмотьях ходит, и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах, склоняет свою надменную голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. В этом — его спасение, и наша великая отрада.

Победа — нравственная конечно — Татьяны над Онегиным — есть, как мы говорили, символически выраженная победа идеала над действительностью. И это то наследие, которое оставил Пушкин своим преемникам — всем русским писателям — и которое русская литература, в лучших ее представителях свято хранит до сих пор. И — главное — это победа не фиктивная — мы не устанем это повторять тысячи раз. Пушкин, введший идеализм в нашу литературу, основал в ней также и реализм. Ничего не было так ненавистно его правдивой и честной душе, как ложь. Эту победу он не выдумал — он только отметил то, что было, на самом деле, что он своими глазами видел в русской жизни. Как велик и труден был этот подвиг — видно из тщетных попыток Гоголя создать «положительный тип». Сколько ни бился он, сколько не искал — все его усилия, как известно, не увенчались успехом. Даже его могучий талант спасовал перед непосильной задачей. «Скучно жить на этом свете, господа» — воскликнул он измученный напрасными по-

исками. Удивительно ли, что он с таким благоговением глядел на Пушкина. Помните вы его слова? «Пушкин есть явление великое, чрезвычайное». Он нашел положительный тип в жизни. И не думайте, что он достиг этой цели, отвернувшись от действительности, чтобы не видеть ее ужасов. Наоборот, все самые мрачные стороны жизни приковывали его внимание и он с долгим, неустанным терпением вглядывался в них, пока не находил для них нужного объяснения. Ведь Пушкин — автор — «Мозарта и Сальери», «Пира во время чумы», «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Русалки». Какие ужасы только не проходили перед его духовным взором. И тем не менее — он не смутился. Везде, во всем он умел отыскать внутренний, глубокий смысл, точно жизнь решилась выдать своему любимцу и избраннику все свои сокровенные тайны. Наиболее поразителен в этом отношении его «Пир во время чумы». Более ужасной картины не придумать самой мрачной фантазии. Человеческий ум повидимому должен со страхом и трепетом отступить перед всемогущим призраком всепобеждающей смерти. Кто дерзнет взглянуть прямо в лицо всемогущей стихии, вырывающей у нас всё, наиболее нам дорогое. Пушкин дерзнул, ибо знал, что ему откроется великая тайна. Припомните эти дивные стихи председателя:

Есть упоение в бою,
 И бездны мрачной на краю,
 И в разъяренном океане,
 Средь грозных волн и бурной тьмы,
 И в аравийском урагане,
 И в дуновении чумы.
 Всё, всё, что гибелью грозит,
 Для сердца смертного таит
 Неистощимы наслажденья —
 Бессмертья может быть залог!

Эти стихи звучат для нас, точно откровение свыше. Они призывают к мужеству, к борьбе, к надежде — и в тот

миг, когда люди обыкновенно теряют всякую надежду и в бессильном отчаянии опускают руки. Пушкин вдохновляется тем, что парализует всех других людей. Он смел и тверд в те мгновения, в которые мы обыкновенно в смятении и страхе спешим укрыться от грозного вида жизни, и, если нет у нас ничего лучшего, просто закрываем глаза, подобно страусу, прячущему под крыло голову, когда он видит, что опасность неминуема. И в этом мужестве перед жизнью — назначение поэта; в этом — источник его вдохновения, в этом тайна его творчества, которые мы, обыкновенные люди, справедливо называем божественным — так далеко он от нас, так недоступен нам. Там, где мы рыдаем, рвем на себе волосы, отчаиваемся — там поэт сохраняет твердость и спокойствие, в вечной надежде, что стучащемуся откроется и ищущий — найдет.

Не менее, чем «Пир во время чумы» поражает нас небольшая драматическая сцена «Моцарт и Сальери». Это — настоящая шекспировская вещь — и по глубине замысла и по выполнению ее. Перед нами ужаснейший из преступников: человек из зависти убивающий, затмившего его своим творчеством, гения. Сальери сам восторгается музыкой Моцарта, называет свою жертву слетевшим с неба ангелом, занесшим к нам несколько райских песен. И — тем не менее — безжалостно убивает своего великого соперника. Повидимому, это самый неблагоприятный сюжет для художника. Здесь нужен проповедник, здесь нужен возмущенный и ужаснувшийся человек, в негодовании призывающий на голову убийцы из убийц, отнявшего у человечества его лучшую отраду — великого музыкального гения — все небесные и земные громы. Но Пушкин и здесь не отступил. С величавым, дивным спокойствием всезнающего человека подходит он к Сальери, глубоким, проникновенным взором вглядывается в его истерзанную душу — и выносит ему оправдательный приговор. И вслед за Пушкиным, мы все, не умеющие в обыденной жизни сдерживать свое негодование при виде самого скромного, жалкого пре-

ступника, — мы все, умиленные и обезоруженные, начинаем чувствовать в своем сердце не злобу и раздражение к великому убийце, а сострадание и жалость. Мы не можем удержаться, чтобы не выписать хотя бы отрывок знаменитого монолога, которым начинается «Моцарт и Сальери». Сальери один в глубоком размышлении говорит:

Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет — и выше...

Какое глубокое понимание человеческой души, какое нечеловеческое проникновение в страшную тайну нашей жизни открывает Пушкин в своем монологе. Сальери начинает страшной фразой. Он пришел к убеждению, что нет правды не только на земле, но и выше — и это приводит его к страшному преступлению. Укажите мне человека, гнев которого не обезоружили бы простые и ужасные слова несчастного Сальери? Где тот судья, который, выслушав вложенный Пушкиным в уста Сальери монолог, не смягчился бы душой и имел бы жестокость обвинить измученного убийцу? И в этом разрешение поставленного самим Сальери страшного вопроса. Есть правда на земле, если люди могут понять и простить того, кто отнимает у них Моцарта, если они могут слезами и умилением встретить великое преступление. И с начала до самого конца сцен «Моцарта и Сальери» мы всё время чувствуем одно и то же: каждый раз воспламеняющееся в нас чувство негодования по поводу замысла убийцы, уступает место великому состраданию к убийце — и казнящая рука бессильно опускается. Пусть пока в обыденной жизни нам нужны все ужасные способы, которыми охраняется общественная безопасность, пусть пока, до времени, сохраняются еще «бичи, темницы, топоры», посредством которых улаживаются обостряющиеся человеческие отношения, пусть на «практике» — как говорят — нельзя прощать «виновных» и принципом правосудия должно быть жестокое правило возмездия — но наедине со своей совестью, наученные

великим поэтом, мы знаем уже иное: мы знаем, что преступление является не от злой воли, а от бессилия человека разгадать тайну жизни. Сальери убил Моцарта, потому, что не нашел правды ни на земле — ни выше.

Так понимал Пушкин преступника — так понимал он всех людей. Все, к кому он прикасался, — слабые, горяющие, разбитые, уничтоженные, виновные — уходили от него окрепшими, утешенными, оправданными. Если бы время позволило нам, то мы бы в каждом произведении Пушкина могли бы указать следы его мировоззрения. Всегда и во всем он остается верным себе. Всегда он ищет и находит в жизни элементы, на которых можно основать веру в лучшее будущее человечества. И, любопытно, для того, чтобы укрепить в себе эту веру — ему нет надобности уходить в глубь истории или всматриваться в те слои общества, с которыми он не связан непосредственными узами повседневных отношений. Иными словами, его вера не нуждается в иллюзии, для которой в свою очередь, необходимым условием является перспектива. Ему не нужно ни уйти в сторону от действительности, ни отодвинуть эту действительность от себя. Он всё время стоит в центре действительной жизни и не теряет дара понимать ее. Лермонтов, когда у него является потребность отдохнуть от мучительных картин повседневности уходит в глубь истории, бросает свое общество и ищет материала для творчества в чуждой ему лично жизни низших классов. Там и он обретает — хотя бы на мгновение веру и надежду. Дерзость опричника Кирибеевича с метлой и собачьей головой, жившему за много столетий до него, он умеет противопоставить стойкое и благородное мужество купца Калашникова. Помните эти вдохновенные слова:

Не шутки шутить, не людей смешить,
С тобой вышел я, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой.

Для того, чтобы найти правду — Лермонтову необходима перспектива. В противовес современному Кири-

беевичу, Печорину — который вместо собачьей головы и метлы носит красивый мундир и светлые перчатки — Лермонтов не нашел никого. Пушкин же, умевший с неподражаемым искусством рисовать нравы простых людей — достаточно указать хотя бы на «Капитанскую дочку», — нисколько не терялся и в сложности запутанной жизни интеллигентского класса. Его творчество не нуждалось в иллюзии. Он везде находил свое — и этому великому искусству научил своих преемников. Тургенев, Достоевский, Толстой — всем что есть лучшего в их произведениях, повторяют это, обязанное Пушкину. То же пристальное, добросовестное, честное изучение действительности, тот же правдивый реализм. И это внимательное изучение действительности, не только не убивает в них веры и твердости, но, наоборот, укрепляет убеждение в глубокой осмысленности человеческой жизни. Посмотрите на творчество Тургенева, сколько бесценных типов душевной красоты создал он. А все его женщины — это уже давно подмечено — имеют свой прототип в Татьяне Пушкина, и подобно ей являются нравственными судьями и светочами в жизни. Достоевский и Толстой в этом отношении представляют еще более примечательные примеры. В новой европейской литературе едва ли можно указать хоть еще одного писателя, который с таким исключительным, загадочным упорством искал разрешения мрачайших загадок жизни, с каким искал Достоевский. Вместе с героями своими, Раскольниковыми, Карамазовыми и иными, он спускался в такие глубокие пропасти жизненных ужасов, из которых, по видимому, нет и не может быть выхода и тем не менее — такие психологические опыты не убивали его, как не убили его те мучительные испытания, которые ему пришлось испытать в течение своей многострадальной жизни. Читатель, вслед за ним входивший в области вечной тьмы, руководимый им же всегда снова выбирается на свет, вынося с собой глубокую веру в жизнь и добро. Достоевский не боится никакого отрицания, он смело глядит в глаза самому крайнему скептицизму, в

полном убеждении — что сведенные к очной ставке — пессимизм всегда уступит свое место вере в жизнь. То же и у Толстого. И его художественная задача никогда не определялась чисто эстетическими запросами души. Он брал перо в руки лишь тогда и затем, когда, после упорного и тревожного размышления, он мог осветить для себя и для других загадку жизни. Великая эпопея русской жизни — «Война и мир», справедливо сравниваемая с гомеровской Илиадой — явилась результатом такого творчества. Каких только ужасов не начитался великий художник в летописях 12-го года. Это страшное движение народов с запада на восток, сопровождавшееся массовыми убийствами, истреблением народов, грабежами, массовыми насилиями — для обыкновенного человека такая картина нелепого и бессмысленного опустошения является страшным приговором жизни. Как можно искать добра в том мире, где может властвовать 15 лет подряд Наполеон? Казалось бы — что взять войну 12-го года как тему для романа — значит задаться целью убить в людях всякую веру, всякую надежду. Этот страшный момент нашей исторической жизни является, как бы, фактическим оправданием мрачной философии не только Печорина, но и Ивана Карамазова, воскликнувшего в порыве отчаяния, что ему нет дела «до чортова добра и зла». И тем не менее гр. Толстой выходит победителем из своей задачи. Я не знаю романа, в такой степени целительно и ободряюще действующего, как «Война и мир». Над всеми событиями, вы чувствуете это в каждой строчке великого произведения, веет глубокий и мощный дух жизни. Чем ужаснее, чем трагичнее складываются обстоятельства, тем смелее и тверже становится взор художника. Он не боится трагедии — и прямо глядит ей в глаза. Вы чувствуете великого ученика великого Пушкина и вам слышатся уже приведенные слова гениального поэта:

Есть упоение в бою.

Опасности, бедствия, несчастья — не надламывают

творчество русского писателя, а укрепляют его. Из каждого нового испытания выходит он с обновленной верой. Европейцы с удивлением и благоговением прислушиваются к новым, странным для них мотивам нашей поэзии. Не так давно, по поводу произведений гр. Толстого, знаменитый французский критик Жюль Леметр, воскликнул: «В чем тайна искусства русского художника? Как могут они заставить нас верить в невероятное, как могут они дерзать искать веры в действительности, оправдывающей только неверие?» И странно — французский скептик должен сам признаться, что ему не под силу вырваться из власти русского художественного творчества. Это — великий признак. Победить французский ум — значит победить весь мир. И быть может предсказанию Достоевского суждено сбыться. Он назвал Пушкина «всечеловеком». Может быть — мы верим в это — слову всечеловека суждено господствовать во всем мире. И это будет счастливейшая из побед. Не потому только, что этим удовлетворится национальная гордость русского народа. Нет — но потому, что при такой победе побежденный будет еще счастливее победителя. Это победа врача — над больным и его болезнью. И где тот больной, который не благословит своего исцелителя, нашего гениального поэта — Пушкина?

П р и м е ч а н и е: Как видно с первых же слов этой статьи, Лев Шестов ее писал весной 1899 года. Нам известно, что статья нигде раньше не печаталась, и что она относится к началу литературной деятельности Шестова. Рукопись была подарена семьей покойного автора редактору для этого альманаха.

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

АЛЬМАНАХ

Редактор Р. Н. ГРИНБЕРГ

НЬЮ ЙОРК
1 9 6 0